

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

DOI: 10.31249/rsm/2018.03.01

И.И. Глебова

РОССИЯ – 1917: СЛАВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ЗАПАСНЫХ

***Аннотация.** В статье речь идет об участии солдат Петроградского гарнизона в событиях Февральской революции 1917 г. Автор анализирует роль армии в жизни императорской России, изменения, принесенные в сознание солдат Первой мировой войной, особенности социального положения и мировосприятия тех из них, которые находились в тылу и в военных действиях не участвовали. Делается вывод о том, что именно положение «запасных» предопределило активную роль солдат в Февральской революции. Кроме того, автор описывает процесс превращения отдельных антиправительственных выступлений солдат в массовый уличный террор.*

***Ключевые слова:** Февральская революция, Петроградский гарнизон, Первая мировая война, крестьянство, В.Б. Шкловский, З.Н. Гиппиус, Б.В. Станкевич.*

**Глебова Ирина Игоревна – доктор политических наук,
руководитель Центра русистических исследований ИНИОН РАН, Москва.
E-mail: glebova.i.i@yandex.ru**

I.I. Glebova. Russia – 1917: The Glorious Revolution of the Troops in Reserve

***Abstract.** The article addresses the fate of the soldiers of the Petrograd garrison in the events of the February revolution of 1917. Analyzing the role of the army in the life of the Imperial Russia, the changes brought about in the minds of the soldiers of the First world war as well as the specific social situation and the attitudes of those soldiers who did not take part in military operations, the author concludes that the position «in reserve» predetermined the active role of soldiers in the February revolution. Also described is the process of turning some anti-government soldiers to the mass street terror.*

***Keywords:** February revolution, Petrograd garrison, the First World War, peasantry, V.B. Shklovsky, Z.N. Hippus, B.V. Stankevich.*

**Glebova Irina Igorevna – Doctor of Political Sciences,
Head of the Center of Russian studies of the Institute
of Scientific Information on Social Sciences
of the Russian Academy of Sciences (INION RAN), Moscow.
E-mail: glebova.i.i@yandex.ru**

Об исследовательской оптике

Русская революция – одно из главных событий нашей истории, определивших ее ток, ее движение. В один ряд с ней можно поставить, пожалуй, только принятие христианства и Петровские реформы; все остальное во многом производно. И хотя в год столетия революции общество не проявило к ней устойчивого, определенного и массового интереса, подсознательное ощущение: в 1917-м произошло что-то действительно важное – было. Правда, связано оно в основном с Октябрем, но это естественно: нынешняя эпоха – инобытие советского, продолжение этой сущности в новых исторических условиях.

Февраль во всех отношениях недооценен. Там – начала русской революции, причем не только хронологические; тогда во многом определились ее движущие силы, содержание и последствия. Поэтому обращение к февральско-мартовским событиям 1917 г. в Петрограде имеет не обычное только значение (еще раз повспоминать, поразбираться – что же случилось), но и более «высокое»: восстановить своего рода историческую справедливость – отдать истории должное (долг). С этой позиции мне и хотелось бы поговорить о солдатской революции, одном из слагаемых Февраля.

Об этом «эпизоде», вроде бы, все известно, все решено. Историки считают, что солдатский бунт в Петрограде едва ли не был запрограммирован¹. При этом ответственность за него полностью возлагается на власть: в солдатском вопросе она показала себя столь же неэффективно и неосмотрительно, как и во всех февральских событиях. Просмотрела опасность – была не адекватна ситуации (не «в рост» сложнейшим задачам времени). То есть Февраль и здесь превращается в рассказ о режиме, его просчетах, неумениях, неудачах. Солдаты же в этой истории проходят, скорее, фоном; за ними видится одна, зато справедливая, мотивация: чаша народного терпения переполнилась².

Это, однако, странно: восстание гарнизона, вспыхнувшее 27 февраля, в корне меняло ситуацию в столице. Те, кому полагалось охранять порядок, контролировать улицу, перешли на ее сторону. Солдатских волнений в Первую мировую не удалось избежать ни одной из воевавших армий. Однако

1. По разным данным, зимой 1916–1917 гг. в столице было сосредоточено от 150 до 170 тыс. солдат запасных батальонов, а в окрестностях (до Луги и Новгорода включительно) – около 150 тыс. (почти в 2,5 раза больше, чем в мирное время) [см.: 6, с. 294; 19, с. 9; 5, с. 96; 18, с. 328]. Сама избыточность этой массы делала ее неуправляемой и опасной. Кроме того, ее состояние было таково, что она мало годилась для охраны порядка.

2. Пожалуй, лучше всего сказал об этом Лев Троцкий на II Всероссийском съезде Советов: «Восстание народных масс не нуждается в оправдании» [цит. по: 22, с. 290].

в Петрограде они имели характер взрывной, всеобщий и потому фатальный для режима. Ничего похожего (по качеству и последствиям) больше не случилось – ни до, ни после.

Само событие требует от исследователя смены фокуса: сосредоточиться не на власти с ее слабостями, а на восстании – выяснять, не кто проиграл и почему, а *кто* победил и *что* стало результатом победы. Только при такой корректировке оптики можно ответить на главный вопрос Февраля: отчего в результате той славной революции произошла не смена режимов (устаревший и неудачливый, уступил место современному и эффективному), но порядок как таковой проиграл хаосу.

Русская армия и мировая война

Как и в случае с восстанием гражданских масс 23–26 февраля 1917 г., солдатский бунт в столице был достаточно случайным (правда, такого рода внезапности, срывы говорят о явных неполадках в системе)³. Но за этой «случайностью» стояли свои обусловленности – не только непосредственные, вызванные войной, но и долгие (исторические), связанные с устройством российской социальности, с ролью в ней армии. Иначе говоря, здесь спрессовалась (выразилась) история. Во многом поэтому эффект оказался столь мощным.

Россия к 1917 г. не была едина не только в этноконфессиональном, но и в социальном отношении: представляла собой «многосоставное» общество – конгломерат разных типов общностей (социальностей). Если характеризовать их максимально общо (т.е. в значительной степени упрощая), можно выделить по крайней мере три: 1) те группы, которые могут быть описаны категорией «сословное общество» (дворянство, бюрократия, купечество, ремесленники, торговцы и проч.)⁴; 2) нарождавшееся в больших городах массовое общество, где все и вся перемешивалось, нивелировалось, где размывались, теряя свою определенность, социальные образования «сословного»

3. Начало любой большой истории обычно складывается из массы незначительных событий, вступающих в странные связи, из которых оказывается невозможно выбрать (и в которых трудно разобраться). Это в полной мере относится к Февралю: во многом случайные и поначалу не опасные (не угрожавшие тотально «основам») происшествия, цепляясь одно за другое, создали в Петрограде трагически неразрешимую ситуацию.

4. «Сословие» – в данном случае, конечно, условная категория. Она прежде всего указывает на то, что речь идет не об обществе, а о социальных агломератах, которые не являлись «классами» в классическом политико-экономическом смысле.

типа⁵; 3) parroхиальные общности – это вся многомиллионная русская деревня (для ее жителей и в начале XX в. быть «курскими» означало то, что они не «пскопские», а быть «русскими» – то, что они не «немцы» и не «басурманы») вместе с теми элементами городской жизни, что не переработал (не успел, не успевал перерабатывать) город. Все это многообразие с трудом поддавалось стабилизации / дисциплинированию / управлению, равно как и мобилизации.

Основным институтом, где представители разных общностей встречались, приводились хоть к какому-то общему знаменателю, отчасти солидаризировались, была армия. Для России и в начале XX в. милитарность оставалась интегральной идентичностью, объединявшей поверх национальных, религиозных, культурных, социальных различий, а военная служба – универсальным унификатором и «социализатором»⁶. Особое значение в этом смысле имела «проработка» армией новобранцев-крестьян – просто потому, что деревня была ее основным донором. Но армия не только вовлекала миллионы этих людей в социальную жизнь; там происходила их «вербовка» из parroхиальной (по существу, не-социальной, вне-социальной) культуры в подданническую: подчинения, приказа, строя, иерархии, службы и служения. Иначе говоря, армия создавала возможность формирования массового общества в России как подданнического. В этом смысле являлась опорой царского режима / порядка.

Можно сказать, что армия несла в массы идею государства – если понимать его в определенном смысле. «...Государство есть “организм”, который во имя культуры подчиняет народную жизнь началу дисциплины... дисциплина, в свою очередь, есть основное условие государственной мощи» [21, с. 80]⁷, – писал П.Б. Струве. При этом государство как дисциплинирующую институцию противопоставлял анархическим, хаотическим началам, жившим в народе (так надо понимать его слова: «Дух государственной дисциплины был чужд русской революции») [там же]⁸. Армия и была проводником

5. Под массовым обществом понимается «новый, присущий XX в. тип общественной организации, в котором широкие массы... впервые оказываются вовлеченными в политический процесс в качестве его неактивных субъектов, а не пассивных наблюдателей» [16, с. 606]. В конечном счете это – одно из воплощений городского общества, его метафора. Революция 1917 г. радикально изменила вектор его развития; благодаря ей Россия в XX в. получила принципиально иное массовое общество, чем она могла бы иметь (чем то, что «вычитывалось» из дореволюционной истории).

6. Это в значительной степени следствие исторического своеобразия нашей социальности, в основе которой заложен милитаристский принцип [см.: 11, с. 261–306].

7. 21, с. 80. Заметим: речь у Струве идет о современном государстве: оно не смешивается с носителями власти, одинаково чуждо и революции, и реакции.

8. Собственно, анархические (инстинктивные, разрушительные, разлагающие) начала, возмущающиеся против укрощения государственной дисциплиной и культурой,

дисциплинирующего духа в массовую культуру; давала образец «регулярности», образ «правильного порядка». Этим определялось значение всего, что в ней (с ней) происходило.

В Первую мировую армия в России стала, как и в других воюющих странах, подлинно народной. Это означало, что она систематически, из года в год вбирала в себя российский parroхиализм – почти тотально, без выбраковок и выборок, характерных для мирных времен⁹. Соответствующие типы личности (образы жизни, реакций на внешний мир) война привела в главные тогда места русской жизни – на фронт, в города; сделала их фактом истории. Результат оказался не в пользу армии: она сильно потеряла в способности подчинять, распространять «государственный дух». В ситуации, когда требовалось воевать и некогда было социализировать, армия стала проигрывать массе – не могла «переформатировать» ее под себя (дисциплинировать, мобилизовать). Чем дальше, тем больше ее облик определялся тем, что это – *армия крестьян*: многомиллионных, в основном неграмотных масс, взятых из деревни, с определенной психоментальностью, культурой. Крестьянская армия и жила, и воевала, и размышляла о жизни и войне особым образом.

Принято считать, что главное негативное воздействие Первой мировой на русскую армию, было, как и везде, связано с непониманием задач войны (зачем воюем?)¹⁰. Это так – но лишь отчасти. Подобная реакция предполагает

имеются в любом народе. Что и показал XX век с его массовыми тоталитарными движениями (особенно «впечатляющ», конечно, немецкий опыт – протест народа, столь склонного к дисциплинированию, против европейски-культурного в себе, против государства как цивилизующего начала). Однако на отечественной почве этот конфликт «духов» (государства и революции) выражен ярче всего.

9. В годы войны в России было мобилизовано 19 млн человек, т.е. 11,4% населения (эта цифра сопоставима с Германией – 13,2 млн мобилизованных, а также с совокупными Великобританией и Францией – 11,8 млн) [16, с. 702]. По существу, это целая страна, во многом потерянная для дела мира, созидания, устройства; наш аналог «потерянного поколения». Такая мобилизация есть грандиозный социальный переворот и страшный вызов «государственной мощи» (в том смысле, в котором об этом говорил П.Б. Струве). Создать из такой массы армию очень сложно, если вообще возможно; она плохо обучается, управляема; ее содержание – непосильный груз для страны. Отсюда такое напряжение между фронтом и тылом, ставшее одним из признаков той войны в России.

10. Здесь надо сказать, что проблема формулирования общих военных целей «сама по себе была достаточно сложна и вызывала серьезные противоречия как на межправительственном уровне внутри коалиций, так и в узком кругу руководящих политиков и военных в каждой стране» [16, с. 383]. Решали ее все по-своему, но возможности пропагандистского воздействия везде были ограничены. Ни одна «национальная идея» войны не смогла послужить оправданием гигантских жертв. Вопрос: почему мы воюем? – нигде не имел «достаточного» ответа (не мог иметь).

рефлексию – сознательное отношение к происходящему. А оно было характерно для очень узкой армейской прослойки – прежде всего для офицерства, а также для части солдат, взятых из города, имевших опыт социальной жизни и хоть как-то образованных. Здесь русская армия не отличалась от европейских; в ней жили сознание бессмысленности и ужаса войны, оскорбленность военными неудачами, неподготовленностью, неадекватностью властей и проч. Оттого поднималось и крепло неприятие старых (довоенных – вовлекших в войну) порядков – их лиц, правил, условностей. Из этой среды, сложись все иначе, могло рекрутироваться наше «потерянное поколение».

Что же касается основной массы армии (армии как массы), то для нее абстрактные вопросы о целях и смыслах не представляли особого интереса (такого рода рефлексия для крестьянского типа сознания не характерна). Фронт для крестьян-солдат был еще одной повинностью государству; отбывая ее, они руководствовались традиционными соображениями, миропредставлениями, конкретикой ситуации. Однако они менее всего психологически и культурно были приспособлены к войне того типа, которой явилась Первая мировая. Механизованная война, сопровождавшаяся массовыми анонимными убийствами, превышала их способности к адаптации (возможности быть солдатом – оставаться им во всех случаях)¹¹. Солдат-крестьянин дал в Первой мировой такие массовые реакции, которые иначе как разлагающими не назовешь. Главная из них – «убегание»: сдача в плен и особенно дезертирство, принявшее в русской армии какие-то невероятные масштабы. Обычно это списывают на антивоенный протест, но представляется, что мы имеем дело с особым типом существования в войне (ее проживания / преодоления).

«Убегание» предполагало отказ от той идентичности, что требовала война – причем отказ весьма своеобразный. В русской армии бегство с фронта во многих случаях не было окончательным: покинув окопы «для дома», дезертиры частенько возвращались в моменты наступлений. Иначе говоря, это странный случай «условного дезертирства» – временного отказа быть солдатом. Особую склонность к массовой сдаче в плен и массовому же дезертирству русская армия в Первую мировую (как, кстати, и потом, в Гражданскую) проявляла при отступлениях. Она показала себя армией действия, наступательного порыва (действующей – в прямом смысле слова); на нее крайне негативно

11. Немецкий публицист М. Бонн писал в 1928 г., что современная война – это не наивно-безотчетное упоение битвой, как во времена легендарных героев, но машина, предприятие по массовому уничтожению людей [см.: 25]. Современные исследователи отмечают, что анонимная технологичность Первой мировой была особенно тяжела для людей традиционного типа [см., напр.: 2, с. 357, 367]. А из таких и состояла в массе своей русская армия.

влияло поведение, не соответствующее *традиционным* представлениям о войне. Эта армия не «умела» отступать – быстро выходила из подчинения, хаотизировалась. Однако в условиях наступления те же самые части становились легко управляемыми, проявляли стойкость в бою [см., напр.: 9, с. 343].

Наконец тяжелейшим испытанием для армии этого типа оказался способ ведения войны, а именно: ее позиционный характер. Первая мировая потребовала долгого окопного сидения; в ситуации же «кто кого пересидит» преимущество было не на русской стороне. Крестьян-солдат мобилизовывала война как работа (ратный труд) – и разлагал окоп. Причем определяющими в этом отношении были не бытовые сложности (хотя русский окоп обеих мировых войн, в отличие, скажем, от немецкого, – не место для жизни; условия существования в нем или очень сложны, или непереносимы); крестьянская жизнь приучила этого солдата быть неприхотливым. По традиционным понятиям, окопное сидение не «считалось» войной – скорее, «сезоном» празднично-безделья, сродни зимнему мужицкому «малоделью». Потому окоп, как и отступление, дезорганизовал, «разрегулирувал» русскую армию.

В конечном счете эта армия была не хуже и не лучше других; в ней соединялись как военные потенциалы (возможности, преимущества), так и слабости, которые в определенных условиях могли превратиться в риски / угрозы (в том числе общественной безопасности). Главным отрицательным ее качеством была, пожалуй, именно склонность к «разрегулированию» – неспособность в полной мере быть «регулярным войском». Это в значительной степени есть реакция на ослабление дисциплинарно-социализирующих потенциалов («регулярности») армии. В ответ в массах поднимался и укреплялся дух анархической реакции, видевший «исконного врага» в «духе государственной дисциплины». Это было самым опасным из тех влияний, которые могла оказать на Россию мировая война. Что и продемонстрировал случай (cais) петроградских запасных.

Петроградские запасные и царская казарма

Столичный солдатский бунт обычно объясняют протестом против фронта: нежеланием запасных умирать на войне, которая так и не стала Отечественной¹². По каким-то последним счетам это верно; все петроградское народное

12. 1914-й год не принес единства стране – не дал убеждения: «если Родина в опасности – значит, всем идти на фронт». Несоответствие фронта и тыла имело революционизирующее значение. Особенно остро реагировали на это солдаты, уже бывавшие в действующей армии. – Не случайно они-то первыми и ринулись в революцию. А вот в 1941–1945 гг. советские фронт и тыл удивительно совпадали – по нищете, лишениям, ужасу и страданиям, степени опасности и жертв, которые потребовала война. СССР стал единой зоной сопротивления (фронтом).

движение было антивоенным – вышло из войны, нацелилось покончить с войной, требовало разрешить социальные проблемы ею вызванные. В то же время февральские события – это *тыловая революция*; вспыхнула в тылу – по тылам и распространялась (из Петрограда перекинулась в Москву, затем в крупные губернские города); на фронте поначалу отозвалась только эхом. И у солдатского протеста были *тыловые* обусловленности.

Военный катастрофизм особым образом прошел через петроградских запасных, вызвав иной, чем у окопников, психологический кризис и слом. Они, конечно, не хотели на фронт, хотя ощущение близости собственной гибели, психологически разрушавшее фронтовиков, им еще не было знакомо. Страх фронта был, так сказать, отвлеченным, не конкретным, что чрезвычайно важно для крестьянской психологии, ментальности (повторю, люди этого типа не реагируют на абстракции). Их недовольства, раздражения, ненависти суть реакции не на будущее, пусть и страшное, но на настоящее, казавшееся невыносимым. Если на фронтовиков главное негативное воздействие оказывал окоп, то на запасных – казарма. В Петрограде ее давление ощущалось особенно остро.

В чем состояло социальное назначение петроградской казармы? – Она должна была превратить запасных в солдат: обеспечить переход этой массы (главным образом, крестьянской) от идентичности мирного времени – к военной, армейской, военной. Тем самым дисциплинировать и мобилизовать, подчинить одному интересу: государственному, объединить вокруг задач войны. Этого не удалось – причем в самом худшем смысле: потеряв одну идентичность, казарменники не обрели другой. Они оказались между мирной жизнью и войной, вне привычных условий существования, традиционных связей, правил и ограничений – *без идентичности*. Этим во многом объясняются и их настрей, и их поведение.

«Питерский солдат тех дней – это недовольный крестьянин или недовольный обыватель, – пишет В.Б. Шкловский, один из “жителей” предреволюционных петроградских казарм. – Эти люди, даже не переодетые в серые шинели, а просто наспех завернутые в них, были сведены в толпы, банды и шайки, называемые запасными батальонами» [24, с. 27]. Здесь, конечно, есть некоторый перебор; все же до Февраля 1917 г. казарменники представляли собой скорее «толпы», чем «банды» и «шайки»; бандитизм – это их будущее. Верно другое: шинель была внешностью, а не сущностью этих людей. Они – не гвардейцы; для них дух гвардии – нечто несуществующее, вне их миропредставлений¹³. Более того, они и не солдаты – не успели, а главное:

13. Пожалуй, главную реакцию на этот «дух» рядовые (солдатская масса) дали после переворота. «В гвардейском корпусе и на Балтийском флоте было сильнее всего недоверие к офицерскому составу», – свидетельствует С.П. Мельгунов [13, с. 331].

не захотели ими стать. Тот петроградский запасной, о котором говорит Шкловский, – потенциальный протестант (смутьян, бунтовщик – как Пугачев). В основе его протеста – реакция на казарму, точнее, на утеснение казармой.

Конечно, такая реакция объяснима. Казарма – наиболее последовательная, крайняя метафора порядка¹⁴. Она навязывала своим временным жителям строй жизни, им совершенно непривычный и чуждый. В казарме призывники впервые оказались встроены в систему военной иерархии. Ее сущность – дисциплина; казарма требовала подчинения – вгоняла человека в жесткую форму (форматировала под солдата), «впрягала» в службу¹⁵. Но, утесняя и воспитывая, казарма не привлекала к реальному, конкретному делу – тому, к которому призвали: к войне. Призывники не воспринимали казарму как место подготовки к фронту (НВП); да она, по большей части, и не давала этого навыка – воевать учились на передовой. Казарма представлялась им, скорее, остановкой по пути на фронт, чем началом фронтовой жизни. В этом смысле они полагали за казармой еще меньше прав на себя, чем за окопом.

Гвардию революционный солдат считал гнездом контрреволюции, офицеров – воплощением «старорежимного духа».

14. *Здесь требование подчинения чуждой воле ничем не стеснено; этим она выводила из себя даже своих постоянных жителей (профессиональных военных) – причем во все времена. Вот что, к примеру, о «синдроме» петербургской гвардейской казармы XIX в. пишет Ю.М. Лотман: «...чем строже организован быт (например, столичный гвардейский быт во времена Константина Павловича), тем привлекательнее самые крайние формы бытового бунта. В эпоху Александра I, когда гвардия пользовалась относительной свободой поведения, в гвардейской казарме не только пили шампанское, но и читали Адама Смита и Бенжамена Константа. При Николае I и Константине Павловиче зажатая в строгие оковы дисциплины гвардейская казарма одновременно сделалась рассадником пороков и извращений. Солдатская скованность компенсировалась диким разгулом» [12, с. 278]. И это – гвардейцы из высшего общества! Иначе говоря, деструкция – в общем-то типичная реакция на казарму. Правда, гвардейцы из света реагировали разгулом на строгость, даже ожесточенность казармы. Гвардейцы же из простонародья были ожесточены против казармы, в основном не практиковавшей насилия. Это кажется характерной реакцией: она раскрывает характер гвардейца-крестьянина, гвардейца-мещанина.*

15. *То, настолько это раздражало казарменников, как восстанавливало против начальства, стало понятно уже после революции. «Стремление поддержать дисциплину и является основным мотивом в обвинениях “высшего офицерства” в контрреволюционности», – отмечал С.П. Мельгунов [13, с. 329]. Все, что ограничивало солдат, ставило их в зависимость от чуждой воли – а это и была дисциплина, – воспринималась в штыки. Революция запасных и была против дисциплины – против государства как дисциплинирующей инстанции и его уполномоченных, ближайшими из которых являлись для них офицеры.*

Призывник разошелся с казармой по главному вопросу: он не видел за ней правды. Казарма слишком много запрещала – и запрещала, с точки зрения казарменников, бесосновательно. Сидение в ней казалось им бессмысленным («пустым») и несправедливым. Потому казарма так тяжело, озлобляюще на них действовала¹⁶. Вот что вспоминал о солдатских настроениях предреволюционных дней В.Б. Шкловский. Хотя он и находился на привилегированном солдатском положении (как инструктор Запасного броневое автомобильного дивизиона), у него осталось ощущение «страшного гнета»: «Может быть, это ребячество, но я уверен, что сидение без отпуска в казармах, где забранные и оторванные от дела люди гноились без всякого дела на нарах, казарменная тоска, темное томление и злоба солдат на то, что за ними охотились на улицах, – все это больше революционизировало петербургский гарнизон, чем постоянные военные неудачи и упорные, всеобщие толки об “измене”» [24, с. 25]. Людям хотелось разрядки; казарма, «не умея» регулировать этот «перегрев», не позволяла выпустить скопившуюся негативную энергию.

Петроградские запасные реагировали на утеснения в основном двумя способами: «уклонением» (от «дисциплинарного гона» казармы)¹⁷ и «убеганием»¹⁸. А бежать было куда. Им выпал единственный в своем роде шанс: побывать в столице. На людей, к городу не привычных, Петроград производил двойное впечатление; он давил сложностью, непонятностью (как нечто чуждое), раздражал своим тыловым видом (а им-то – на фронт)¹⁹ – и в то же

16. Анализируя причины отчужденности и враждебности после революции солдат и офицеров, среди которых было немало социалистов и либералов, современные исследователи предположили: крестьяне и рабочие рассматривали службу как возвращение крепостничества [см.: 27, с. 36–56]. Надо сказать, так воспринимались любые попытки государственного вторжения во внутреннюю жизнь народа (призывы, налоги, реформы и проч.). Видимо, и казарма представлялась казарменникам именно формой закрепощения, причем тыловой – а значит, уже совершенно несправедливой.

17. Речь идет о безразличии к службе, плохом несении службы. Это – сродни «волынке», широко применявшейся рабочими на заводах, когда они и от работы не отказывались, но и работать не работали. Подобные формы протеста (против помещика, местного начальства, любой власти – царской, февральской, советской) широко практиковали и крестьяне.

18. То есть протест против казармы был подобен реакции солдат на действующую армию – дезертирству (его массовость, кроме прочего, свидетельствовала о слабости наказания за это военное преступление).

19. Многие фиксировали, что этот город действовал на призывников развращающе: «глазам солдат открывалась разгульная картина тыла с его бесчисленными соблазнами, бурлившей ночной жизнью, повальным развратом общественных организаций, наглой, бьющей в глаза роскошью, созданной на крови» ([10, с. 714]; см. также: [26, с. 138–139]). Город не был таким (точнее, он был очень разным), но казар-

время манил. Его хотелось изучать – попробовать этой незнакомой жизни. Но между ними и городом стояла казарма с ее запретами. Петроградская улица обещала им невиданные приключения; казарма от них изолировала. Поэтому и шли они в город в основном как нарушители – порядка, правил (асоциальный элемент).

В приведенной цитате из «Сентиментального путешествия» цепляет пассаж об «охоте» на солдат. Кажется, одно только это может объяснить и оправдать их «революцию». Однако, как поясняет сам автор, «охота» имела причину: уходя из казарм (в самоволку. – В. Б. вспоминает о «воровских пробежках» по улицам после 8 часов вечера), солдаты переполняли вагоны трамваев и отказывались платить за проезд. Начальство высылало военные патрули, которые ловили «вольнопутешествующих» («загоняли во дворы, набивали комендантство»), а «солдатская масса... отвечала... глухим озлобленным саботажем» [24, с. 25]. А тут еще, готовясь противодействовать январско-февральским протестам, запасных и вовсе заперли в казармах – запретили увольнения [7, с. 460]. Лишение «прогулок» (возможности «побегать») воспринималось как самое страшное наказание. Результатом и стала «война», еще до революции превратившая, как писал Шкловский, город в «военный лагерь».

Все это поражает своей неадекватностью: что за повод для войны – трамвай? Откуда столько претензий у людей, пришедших в основном из деревни, убогой и скудной всем, в том числе и событиями? Солдатский «саботаж» кажется какой-то игрой – напоминает подростковый протест против воли родителей: те вгоняют в какие-то рамки, утесняют запретами, а вчерашние дети, вдруг ощутившие свою самость, рвутся «за флажки», отвергают и опровергают²⁰. Однако, с точки зрения казарменников, эта «партизанщина» была оправданна – причем по высшим счетам.

Тыловое существование крестьянин, оторванный и от обычной работы, и от ратного труда, полагал праздным. В крестьянском же мировосприятии труд и праздность четко разграничены. Праздности должны сопутствовать хотя бы элементарные радости и развлечения (какие-то атрибуты праздника).

менники, видимо, именно так (с негативной точки зрения) его воспринимали. В основном потому, что Петроград относился к ним как к чему-то внешнему, для городской жизни малосущественному; не принимая, игнорировал.

20. Тут вспоминается «Республика Шкид»: ее «жители», не желая подчиняться режиму (в знак протеста), а также из интереса к улице постоянно практиковали «убегание». Перевод на «осадное положение» (запрет выходить в город) вызвал бунт; учащиеся превратились в орду. Началась расправа над учителями (под лозунгом «бей халдеев!»); наиболее предприимчивые и практичные устроили разгром на кухне (поживились, чем могли). Это просто сценарий петроградской «революции» запасных.

Да и в конце концов право погулять давало запасным ожидание фронта: в традиционной культуре переход от мирной жизни к войне – своего рода ритуал; он требовал определенной процедуры, нарушение которой могло быть опротестовано²¹. Вот и устраивали себе петроградские солдатики самовольные праздники (а катание в трамвае для людей, которым этот вид транспорта внове, – немалое приключение²²); наказание же воспринимали как еще одно нарушение «прав».

Петроградские запасные находились в конфликте с городом, с казармой, с существующим порядком. Те требовали от них того, чем они не желали быть: смирными казарменными сидельцами, ожидающими фронта. Запасные же хотели, чтобы начальство не утесняло, сняло запрет на Петроград, признало за ними право на праздность / праздник (хотя бы на временный загул). Да и вообще, желали быть «вольноопределяющимися» – но на свой лад: жить по своей воле (захочу – погуляю, захочу – вернусь в казарму). Этот тип – альтернатива тому образу солдата, на котором строилась казарма (как армейский, государственный институт). И «грезил» он о такой казарме, которая служила бы перевалочным пунктом для его «кочевий»: месте, где можно подкормиться, отоспаться. То есть его идеал альтернативен этой институции.

Вот характерное замечание из рассказа Шкловского о предреволюционном казарменном житье-бытье его бронедивизиона: «Нашего начальника капитана Соколихина все любили за то, что он *не тянул команду* (выделено мною. – И. Г.) и исправно хлопотал о ботинках для нее» [24, с. 35]. Этот солдатский «образец» командира: не давит дисциплиной, заботится (попечительствует о «своих») – просто пара к идеалу вольноопределяющегося. Чем больше начальство радело о казарменном порядке, формула которого – «приказ / подчинение», тем менее оно было популярно.

Показательно: петроградские казарменники были особенно возбуждены против полиции (хотя что им, вчерашним крестьянам и мещанам, эта полиция?; где они, особенно деревенские, успели ее узнать – да еще с плохой стороны?). «А на полицию сердились давно, главным образом, за то, что она была освобождена от службы на фронте, – пишет Шкловский. – Помню, недели за две до революции мы, идя командой (приблизительно человек в двести),

21. Еще в 1914 г. в некоторых провинциальных городах имели место бунты призывников. Их называют антивоенными, однако чаще всего они были вызваны закрытием винных магазинов и кабаков [16, с. 362; 4, с. 287]. Запрет продажи спиртного призывники воспринимали как покушение на вековой обычай – и бунтовали.

22. Петроградская «трамвайная война» была вовсе не уникальна. Еще в 1914 г. в Екатеринославе, к примеру, запасные, возмущенные запретом бесплатного проезда в трамвае, «взяли штурмом вагоны, повыкидали городских и навели панику на полицию» [см.: 4, с. 287]. Их намерение понятно: если гулять (после дома, перед фронтом), то не пешком, а на трамвае – массово и даром.

улюлюкали на отряд городских и кричали «Фараоны, фараоны!»» [см.: 24, с. 28].

Эта популярная в войну идея: фараонов – на фронт! – реализовалась после Февраля, однако ненавидели полицию не за «дислокацию» (за то, что она – в тылу), а за принадлежность к порядку. В этой ненависти ярче всего проявились возбуждение против любого начальства, стоявшего над казарменником, настрой на расправу с «утеснителями».

Революция как воображаемый проект

Влияние и Петрограда, и петроградской казармы оказалось для запасных в основном негативным по своим последствиям. Эта жизнь выбирала в них те качества, которые делали их малопригодными для охраны порядка – более того, опасными для него²³. Долг, Родина, «за что воюем» – были за пределами их интересов, желаний, умонастроений даже больше, чем у фронтовиков. Они еще подчинялись, но нехотя; всячески сопротивлялись «осолдачиванию», т.е. дисциплинирующему воздействию казармы. Если у призывников и была какая-то идентичность (точнее, склонность к какой-то идентификации), то пассивно-бунтовская: смесь недовольства (всем) / раздражения (на все) с полнейшим безразличием к службе.

Нежелание быть солдатом, стремление «разрегулировать» казарму, это ближайшее воплощение «регулярности» (армии, государства), – главное в петроградском запасном образце февраля 1917 г. Его вела смутная потребность выйти из подчинения, «тряхнуть» весь этот порядок (казарменную дисциплину, городские благополучие и устроенность) – встряхнуться самому. В.Б. Шкловскому канун восстания запомнился «мечтательными разговорами инструкторов-шоферов, что хорошо было бы угнать броневик, пострелять в полицию... Очевидно, у людей еще не было уверенности в том, что можно опрокинуть старый строй, хотели только пошуметь» [24, с. 27–28]. Вот он, общий интерес петроградской казармы: шумнуть, пострелять. За этим – не просто желание заявить о себе (показать себя, бросить вызов), но и нечто большее.

23. Такие гвардейские казармы – вызов и угроза Петербургу, помещенная в самое его сердце. И это вовсе не метафора. В начале XX в. Петербург оставался единственной европейской столицей, где в центре еще имелись казармы [см. об этом: 3, с. 49; 23, с. 312]. Во время восстания эта топография приобрела политическое значение.

В феврале 1917 г. речь вовсе не шла о демократизации казармы²⁴, но об анархической, «регрессирующей» реакции на нее, имевшей едва ли не всеобщий характер. Массам людей, собранным в петроградских казармах, надоел порядок. Дело не в том, плох он был или хорош; они в принципе были против него: он их ограничивал, сдерживал, раздражал – хотелось беспорядка. Неслучайно все они толковали о будущей революции: при отсутствии «партийной агитации», вспоминал Шкловский, «все же революция была как-то решена – знали, что она будет, думали, что разразится после войны» [24, с. 26]. В кануны «происшествия» толки о революции шли по всему Петрограду, но за солдатскими разговорами стояли, пожалуй, самые упорные, интенсивные и кровавые намерения: переменить – начальство, порядки, жизнь.

Ничего общего с высотой порыва: «перемен!.. мы ждем перемен!», «за нашу и вашу свободу!» – здесь не было. Симптоматично, что разрядка выдвинулась запасным той или иной формой бандитизма – угонами, захватами, самоуправством, обязательными жертвами. В мечтах они противопоставляли себя порядку, терроризировали тех, кто его символизировал, охранял. Иначе говоря, еще до «происшествия» петроградские солдатики жаждали самоутверждения «по-пугачевски» (петроградский запасной – человек плохих намерений, «расхотевший» быть «хорошим»: подданным, солдатом). Способы были определены, жертвы намечены. Все это – смутно, почти бессознательно, без особых надежд на осуществление. Казарменники сами не верили, что могут сорваться в бунт.

Подчеркнем: за революционным настроением петроградских запасных стояло не просто противоречие между казарменником и казармой, призывником и войной. Это – энергия традиционного хаоса («тлеющая тоска» по хаосу), которая искала выхода. Так действовали хаотические начала русской истории, столетиями укрощавшиеся силами государства; так начиналась борьба между порядком и силами распада, которые хотели возобладать²⁵. Через

24. Хотя и говорят, что в армии (как и в сумасшедшем доме) демократии не бывает, процесс демократизации в XX в. проник и сюда. После Второй мировой войны демократизировались все армии современного мира – чтобы совпасть с обществом, соответствовать ему. Процессу демократизации подверглась и казарма; для нее были «придуманы» разные разрядки.

25. Пожалуй, именно тяга к анархическому самоосуществлению (кочевой инстинкт к воле – без форм, границ, обязательств, вне сковывающей воли государства) и отличает русский народ от других европейских народов. Эта тяга историческая – обусловлена природой, географией (об этом сказано, что Россия – страна, которая постоянно колонизируется; что русский народ – жидкий элемент русской истории и т.п.). Кочевой инстинкт, приглушенный столетиями оседлой жизни / крепостного права, «восстал» в эпоху Освобождения. Демографический взрыв и перенаселение в деревне, капитализм и массовая индустрия придали этой исконной народной тяге

запасных тяга к беспорядку / вольнице / безначалию проявлялась сильнее всего; они ведь находились внутри порядка, укрощались им. Пока порядок держался, эта адская смесь оставалась втуне, прорываясь лишь отдельными безобразиями. Однако массовость этого вызова и тогда ставила порядок под вопрос; это – против его природы, опасно для любых форм жизнеустройства. В восстании все мутные образы, инстинктивные реакции (внутренняя мусть / смута) вышли наружу – рванули.

Порядок же (петроградская казарма) не располагал силами для «исправления» запасных, для жесткого дисциплинарного давления. И дело тут было даже не в количестве офицеров на одного солдата (хотя и это важно: для подчинения казармы их было слишком мало)²⁶, а в их качестве: они тоже чувствовали себя запасными, тыловыми. И хотя слова «долг» и «приказ» не были для них пустыми, они тоже смотрели на казарму с демобилизационной точки зрения: как на отпуск, отдых от передовой. В то время, которое требовало «ужатий» / «ужесточения» («напряжения» порядка), казарма качнулась к ослаблению. Как и вся русская дореволюционная армия, она вовсе не была тюрьмой²⁷: не поглощала человека тотально (хотя тотальная война требовала именно такого: полностью милитаризованного – солдата, значит, казарме следовало моделировать именно такой тип личности), не отбирала у него последней свободы, не вменяла ему – без разбора и скидок – военно-полицейский режим (притом что входила в число наиболее «режимных объектов»).

Казарма не могла запугать, да и не ставила себе такой задачи. Зачем «зажимать» людей в тылу – ведь впереди передовая, ужас, смерть. (Таким был весь «николаевский режим»; способность терроризировать, подчинять репрессией не была его сильной стороной.) В петроградской казарме зимой 1917 г. сошлись нежелание подчиняться и нежелание подчинять («тянуть команду», «напрягать» свою власть). В ней самой было мало «регулярности».

новые живительные силы; в Мировую войну и революцию эти процессы приняли характер тектонического сдвига. Собственно, революция и явилась формой расковывания этих сил.

26. На одного офицера в петроградских казармах приходилось приблизительно по 200 солдат [6, с. 294].

27. Тот же Шкловский свидетельствует, что условия существования в ней были относительно свободными. Часовые и дежурные плохо охраняли казармы – пропускали своих товарищей на улицу. Когда в городе начала ощущаться «недостача хлеба» («Продовольствие города все ухудшалось, по тогдашним меркам оно стало плохо», – фиксирует Шкловский (выделено мною. – И. Г.) и появились хвосты, солдаты взялись продавать хлеб. В казармах исчезли корки и куски, составлявшие – вместе с «кислым запахом неволи» – их «местные знаки» [24, с. 27].

Этот «настрой», это состояние и выражались через офицеров²⁸. Такая казарма еще могла держать в повиновении, но сделать из запасных опору порядка была уже неспособна²⁹. Доказательством тому служит сам факт мятежа: из жестоко подавляющей, репрессивной за малейшие ослушания казармы революционеры не выходят.

Вся история петроградских запасных (*февралистов из «низов», смутных и бессознательных*) – о том, как удивительно рождаются революции, из каких совершенно неожиданных социоисторических, психоментальных, культурных «посылок» они вырастают, отчего в них бросаются люди. И в то же время – о том, что революции <всегда> возможны, но вовсе не обязательны. Парадокс: не выйди на улицы рабочие (именно тогда, в конце февраля – в канун наступления, обещавшего быть последним, победным), не подними они в городе такую бурю, запасные имели все шансы стать фронтовиками, а не бунтовщиками. Однако ситуация петроградского восстания предоставила им новые возможности для самовыражения: позволила им, наконец, стать «плохими» (не «солдатиками», а «солдатней»), предъявить себя в таком качестве – казарме, городу, истории.

Восстание сделало то, на что оказалась неспособна казарма: мобилизовало запасных. Здесь они и обрели идентичность: по факту – «пугачевцев», в «официозе» Февраля – солдат (гвардии) революции.

Восстание:

От солдатиков – к солдатне

Кажется, солдатский протест объяснен и оправдан в одной небольшой зарисовке З.Н. Гиппиус. Жаркий июль 1916 г. – в один из вечеров они с Д.С. Мережковским стояли на балконе. «Долго-долго. Справа, из-за угла огибая решетку Таврического сада, выходили стройные серые четырехугольники солдат, стройно и мерно, двигались, в равном расстоянии друг от друга, – по прямой, как стрела, Сергиевской – в пылающее закатным огнем небо.

28. Не случайно в момент восстания они в основном просто уйдут из команд. Это «неучастие офицерского состава в движении 27-го» вызовет «обострения между командным составом и солдатской массой» [13, с. 43]. Разрядит напряжение Приказ № 1, ограничив офицеров в правах, сделав из них «лишенцев».

29. Надо сказать, более всего запасных держали в казарме не административно-репрессивные меры, а привычка (привычность порядка) и жизненные необходимости: это единственное место в Петрограде, где им были обеспечены приют и питание. Что же касается офицеров, то для них все порывы нижних чинов были внове; видимо, само появление у них «желаний» офицерам казалось странным, неестественным, – они не знали, как с этим работать.

Они шли гулко и пели. Все одну и ту же, одну и ту же песню. Дальние, влево, уже почти не видные были, тонули в злости, а справа все лились, лились новые, выплывали стройными колоннами из-за сада.

*Прощайте, родные,
Прощайте, друзья,
Прощай, дорогая
Невеста моя...*

Так и не было конца этому прощанию, не было конца этому серому потоку. Сколько их! До сих пор идут. До сих пор поют» [8, с. 423–424].

Солдатики. Все наше сочувствие – на их стороне. Но, поразительным образом, с 27 февраля 1917 г. им уже не хочется сочувствовать...

Путь в восстание солдатики нашли скоро и самостоятельно (без внешних влияний). С начала 1917 г. в казарму проникали слухи о том, что «рабочие собираются выступить». Но триггером бунта стал сам факт выступления; встретившись с открытым, упорным, массовым протестом, многие казарменники «узнали», что он вообще возможен. И хотя у «полукрестьянской, полумещанской солдатской массы» было мало связей с рабочими, «все обстоятельства складывались так, что создавали возможность некоторой детонации» [24, с. 26, 27]. Военный мятеж: против казармы, офицеров, сухого закона, войны – инстинктивно был направлен против существующего порядка; в этом его сцепка с рабочим восстанием.

Поначалу все не было фатально – знамя мятежа подняли лишь некоторые части петроградского гарнизона. Они, однако, дали другим альтернативу: быть с ними («стоять за народ») или не рисковать – оставаться в казарме. И те, вслед за «первопроходцами», стали самоопределяться. Причем в обоих случаях аргументация была одна: «мы ничего, мы как другие». Иначе говоря, восстание запасных очень похоже на то, как бунтовала деревня: всей общиной (здесь выбор при тех или иных колебаниях – всегда в пользу большинства), зачинщики – самые зажиточные (лучшие крестьяне); даже громя, составшие ощущали себя правыми. Более того, именно «погром» оправдывал их действия.

В течение дня 27 февраля восстание – через «снятия» (других полков) и «братания» (с рабочими) – распространялось по гарнизону. К вечеру из 160 тыс. солдат половина бунтовала, а другая сохраняла «нейтралитет» [14, с. 312]. Движение приняло перманентный характер, не прекращаясь даже ночью. Вот когда петроградские запасные действительно стали угрозой общественной безопасности, а способность порядка защищаться приобрела

решающее значение. Проблема, однако, состояла в том, что защищаться следовало от тех, кто и должен был защищать³⁰. В городе, конечно, возникла ситуация противостояния: солдат бунтующих – и подчинявшихся командирам. Появились очаги внутренней войны – сопротивления мятежу, борьбы мятежников с «оставшимися верными». Однако единым пространством войны Петроград не стал.

Эффект же восстания запасных был такой же, как у рабочего движения 23–26 февраля: ощущение беспорядков, да и сам беспорядок в столице достигли критических значений. Высокие мотивы: не стрелять в народ, поддерживать рабочих – у массы, покинувшей казарму, изначально не были главными (только сопутствующими) и быстро ушли на периферию. Рванув на волю, казарменники «отформатировали» петроградское «восстание масс» в окончательно погромном духе. То есть способствовали укреплению именно этого его качества: погром / неподчинение / анархия / дезертирство [13, с. 24]. Солдаты действовали в соответствии со слепой бунтовской логикой: бессмысленно и беспощадно. Тогда и начался массовый уличный террор против полицейских и офицеров, экспроприации и пьяные безумства.

Вот только несколько свидетельств о славной революции запасных 27 февраля – 3 марта 1917 г. в Петрограде: «Испуганные обыватели бегут по всем улицам... Солдаты попеременно с народом строят баррикаду... Бой идет во всем городе... Ни один фонарь не горит... Задерживает какая-то свалка между солдатами... Солдаты в бешенстве кричат, воют, дерутся на площади» [15, с. 341, 343–344]. По Петрограду бродили «отдельные солдаты и шайки», «стреляя прохожих, обезоруживая офицеров» [17, с. 58]. Творилось «что-то нелепое, неудержимое»: «...много пьяных солдат, отбившихся от своих частей... Солдаты то арестуют офицеров, то освобождают, очевидно, сами не знают, что нужно делать, и чего они хотят. На улице отношение к офицерам прямо враждебное» [8, с. 463, 469]. 27 февраля, когда восстание вспыхнуло в окрестностях Петрограда, «царскосельский гарнизон грабил трактирные заведения»; встречая маршевые роты, подошедшие из Новгородской губернии, с корзинами яств и питий», спаивал эти части [17, с. 48, 65]. Русский бунт – короткий миг свободы, чудесный погромный праздник, соединивший «народную расправу» и всеобщий запой.

В те несколько дней сбылись мечты казарменников: они и пошумели, и погуляли. Дореволюционное хулиганство в разных формах сменил настоящий бандитизм; запасные превратились в «банды» и «шайки» – в банд-

30. Военные называют это состоянием стратегической внезапности: одна из противодействующих сторон вдруг оказывается в заведомо проигрышном положении.

формирования (в повстанцев, «зеленых») ³¹. Еще несколько дней такой «кровавой схватки с царизмом», и обыватель затосковал бы о городском. Такому массовому всплеску инстинктов, агрессии, негативных эмоций нельзя противостоять; справиться с ним не мог бы ни один порядок. Потом, когда победившую революцию стали романтизировать и героизировать, об *этом* не вспоминали, забыли. А ведь понятно было, что так просто все не пройдет. Подобного рода «происшествия» приводят к разрушению каких-то важных соответствий, гармонизаций, разрешений и запретов, благодаря которым и возможна жизнь. А тогда это грянуло в особо крупных, варварских размерах.

Однако при всей силе солдатского анархического взрыва его перспективы были самыми неопределенными; иначе говоря, он не был обречен на успех. А солдаты не имели – да и не могли иметь – «политических расчетов», т.е. не стремились стать опорой каких-то политических сил. Они никого не знали, никому не доверяли; во всех внешних силах видели угрозу. Б.В. Станкевич, офицер, социалист, рассказывал, как утром 27-го он «пытался толпу солдат, ворвавшуюся в школу прапорщиков на Кирочной и вооружившуюся там винтовками, убедить идти к Государственной Думе и как его слова были встречены недоверием: “Не заманивают ли в западню?”» [13, с. 41]. В солдатском движении было мало сознательного; его единственный смысл – в самом движении (солдаты металась по городу – как пешком, так и на захваченных автомобилях, грузовиках и проч.), в неповиновении, в нарушении порядка.

В конечном счете у восстания петроградских вооруженных масс – короткий маршрут: не в географическом отношении, а в смысле перспектив. Это маршрут одного дня: «шумнуть». По наблюдениям В.Б. Шкловского, «большинство... <запасных> воспользовалось революцией как *неожиданным отпуском*» [24, с. 36]. Если бы дело ограничилось только этим, и их судьбы, и судьба страны сложились бы по-другому. Они не могли не быть болезненными, наверное, трагическими (впереди были бы война, смерти, послевоенное безвременье), но это не привело бы к окончательному решению всех тогдашних вопросов: ликвидации всего старого – во имя всего нового. Однако маленький петроградский взрыв оказался только запалом для русской революции, т.е. для восстания масс в общероссийском масштабе. Они превратили армию «в бич для населения и в угрозу самим основам государства» [20, с. 58].

³¹ *Петроградская революция покончила с регулярной армией (поначалу в столице) и дала «зачин» повстанческой. Эти два типа армий и действовали в Гражданскую войну.*

P.S.: От истории - к постистории

Великая война вызвала почти во всех воевавших странах два прямо противоположных движения. Одно выразило себя в литературе «потерянного поколения». Антивоенное, гуманистическое, оно потом выведет Запад (в широком смысле) из того тупика (политического, социально-экономического, культурно-ментального), в который он попал, втянувшись в Первую мировую (позволив себе этот срыв). Другое было варварским, плебейским, антикультурным, хотя его вожди (Муссолини, Гитлер, Салазар, Франко) и апеллировали к классическим канонам, национальным традициям.

«Десятки миллионов людей, вырванных из мирной жизни и брошенных в кромешный ад взаимного уничтожения, испытывали невероятную эмоциональную (негативную) нагрузку, разрушавшую сложившиеся прежде стереотипы поведения и нравственные ценности, – отмечают исследователи. – Общим вектором перемен становилась радикализация сознания масс, крушение представлений о дозволенном и недозволенном, усиление ментальной готовности к поиску врага и применению силы в мирной, послевоенной жизни. Этот тренд в массовом сознании создавал благоприятную почву для развития тоталитарной тенденции – ключевого политического феномена 1920–1930-х годов, – ибо способствовал бурному распространению, особенно в первые послевоенные годы, леворадикальных и правозэкстремистских течений в европейских странах» [16, с. 598].

Этим движениям, принявшим массовый характер, была абсолютно чужда культура больших европейских городов, свобода и ответственность (свобода как ответственность). Они не знали (не хотели знать) Фрейда, Пруста, Джойса; редуцировали новую, современную жизнь к биологии и псевдосакральным текстам. В этих движениях разнуздались темная, антигуманная природа человека, раздраженная и возбужденная мировой бойней. Они и привели к дегуманизации, падению культуры. А их двигателем выступали фронтовики – люди войны, не находившие себя в мирной жизни, оскорбленные ею, жаждавшие реванша (внутреннего, социального, и внешнего, национального).

Русская революция стала первым и крайним выражением этого важнейшего социокультурного сдвига. Она лишь фактически вышла из войны; содержательно – из того социального переворота, в который вовлеклась царская Россия в 60-е годы XIX в.: явилась ответом на интенсивную индустриализацию, урбанизацию, «столыпинское» обновление деревни – в протест против них. Не случайно место ее рождения – массовое производство и массовая армия (т.е. современные социальные формы). Символично также, что в ее авангарде шли запасные, дезертиры – люди, вырванные из нормальной социальной жизни, не обремененные ни фронтовыми, ни тыловыми обязательствами, правилами, условностями.

Как Петербург в начале XX в. стал лабораторией современности (см. об этом работы К. Шлегеля), так петроградская казарма зимой 1916–1917 гг. в силу разных обстоятельств превратилась в лабораторию народной революции. В ней возобладал особый тип массовой личности: склонный к простейшим социальным решениям, понимавший только язык насилия, подозрительный и враждебный ко всему непонятному, культурно чуждому (чуждым), озлобленный против существующих порядков, инстинктивно не принимавший морали, устоев, ценностей городской, буржуазной, европеизированной (современной) цивилизации. Примитивно понимая справедливость и равенство, этот массовый человек сделал из них фетиш; его главная тема – социальный реванш³².

Желая получить все и сразу, этот стихийный революционер (по призванию и случаю) легко заражался демагогическими лозунгами, обещаниями, мифами – всем тем леворадикальным тоталитаризмом, который воплощал в себе большевизм. Именно здесь – истоки большевизации послефевральской России, превращения большевизма в социальное явление, в историческую судьбу народа. Большевистским ответом революционному солдату-бунтарю 1917–1921 гг. явилась в 30-е личность военно-спортивного типа (определение Н.А. Бердяева): отличный солдат, хороший подданный. Одним из мест его воспитания стала советская (военно-спортивная) казарма, исключавшая анархические порывы и бунтовские эксцессы. Иначе говоря, использовав для своей революции энергию стихийного почвенного «тоталитаризма», большевики «пересоздали» его – дали организацию, снабдили формой (в данном случае это не только метафора), подчинили, сделали управляемым.

Что же касается петроградского восстания масс, военизированных и гражданских, то оно по своей природе было не столько социальным, сколько биологическим (инстинктивным, «психическим»). Поэтому не имело никаких ограничителей – религиозных, государственных, правовых (не принимало их во внимание). Это продолжение пугачевщины – в пушкинском смысле, т.е. явление антикультурное. И важно оно даже не само по себе (как история – наше прошлое), а своими последствиями.

32. Н.Н. Алексеев писал, что в 1917 г. победила демократия прямая, первобытная, кочевая, политически аморфная, полуанархическая, в которой воплотились идеалы русской вольницы, казацкого «вольного товарищества» [1, с. 101, 107]. Для нее характерны «произвол массы и несправедливость личности», поэтому она легко соединялась с диктатурой. Иначе говоря, в русской революции возобладали идеи демократии, диктатуры (демократуры) и социальной справедливости или, говоря языком Якова Гальмона, «тоталитарная демократия». Тоталитарный режим стал оформлением тотальной воли, тоталитарных чувствований масс.

Одним из главных открытий XX в. стала идея расщепления ядерного ядра, подтвержденная затем практически, опытно. Русская революция, начало которой положил бунт запасных, есть социальный аналог этого процесса. Говорят, Чернобыль отравил огромные территории на столетия вперед. Столь же мощными оказались эффекты нашей революции. Подобно природе, впитавшей в себя чернобыльскую радиацию, от нее пострадала и природа человека (кстати, не только русского). Она показала безграничные возможности (безграничность возможностей) убийства, лжи, предательства; далеко продвинула его по пути дегуманизации, дехристианизации³³.

Возможности дезактивации оказались крайне ограничены. Что и демонстрирует наше время. Поразительно: после оттепели и десятилетий послесталинского экономического, морального, культурного восстановления, нормализации жизни человека и общества (т.е. преодоления революционной радиации), перестройки, открытого общества 90-х главная тема социальной повестки – ретоталитаризация³⁴. Опять торжествующие милитаризм, идеология «врага» (чужих, лишних) и «осажденной крепости», государственный произвол и репрессии, подавление личности со всеми ее правами – социальными, политическими, гуманитарными. Восстановились язык, мировоззрение, практика по-советски тоталитарного общества. Как и столетие назад во главе этого движения – простой постсоветский человек; «верхи» лишь «пакуют» и используют (в своих интересах) его анархические, диктаторские, реваншистские запросы. То, что этот путь – выбор большинства, и идут им (более или менее последовательно) практически все постсоветские режимы, как-то мало утешает.

Библиография

1. Алексеев Н.Н. Русский народ и государство. М.: Аграф, 1998. 635 с.
2. Асташов А.Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 г.: Военный опыт и современность. М.: Новый хронограф, 2014. 736 с.
3. Берар Е. Империя и город: Николай II, «Мир искусства» и городская дума в Санкт-Петербурге, 1894–1914. М.: НЛЮ, 2016. 344 с.
4. Булдаков В.П. 1917-й год: Страсти революции // Труды по русистике. М.: ИНИОН, 2016. Вып. 6. С. 277–319.

33. Показательно: энтузиазм, творческая энергия, раскрепощенные революцией, свойственные ей идеализм и утопизм к середине 30-х годов оказались лишними и опасными для того режима, который она породила. Они использовались и защищались – защищались и использовались. Пока не пришла война.

34. Это то, что сейчас почему-то называют «консервативным поворотом». Ничего от классического (как и неоклассического) консерватизма в этом «повороте» нет; разве только что-то от «внешности».

РОССИЯ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

5. Бурджалов Э.Н. Вторая русская революция: Восстание в Петрограде. М.: Наука, 1967. 408 с.
6. Гайда Ф.А. Либеральная оппозиция на путях к власти (1914 – весна 1917 г.). М.: РОССПЭН, 2003. 432 с.
7. Ганелин Р.Ш. После Распутина // Ганелин Р.Ш. В России двадцатого века. Статьи разных лет. М.: Новый хронограф, 2014. С. 442–463.
8. Гиппиус З. Дневники: в 2 кн. М.: НПК «Интелвак», 1999. Кн. 1: Синяя книга (1914–1917). 736 с.
9. Донгаров А.И. Пакт Молотова–Риббентропа: Запланированный экспромт // Труды по русистике. М., 2016. Вып. 6. С. 320–352.
10. Керсновский А.А. История русской армии. М.: Воениздат, 1999. 784 с.
11. Клямкин И.М. Демилитаризация как историческая и культурная проблема // Куда ведет кризис культуры? Опыт междисциплинарного диалога. М.: Новое изд-во, 2011. С. 261–306.
12. Лотман Ю. Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX в.). СПб.: Азбука, 2016. 608 с.
13. Мельгунов. Мартовские дни 1917 г. М.: Вече, 2016. 576 с.
14. Пайпс Р. Русская революция. М.: РОССПЭН, 1994. Ч. 1. 399 с.
15. Палеолог М. Царская Россия накануне революции. М.: Политиздат. 1991. 494 с. (Репринт. воспроизв. изд. 1923 г.).
16. Первая мировая война и судьбы европейской цивилизации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2014. 816 с.
17. Последние дни императорской власти / По неиз. док. сост. А. Блок. Минск: Вышэйш. шк., 1991. 110 с.
18. Россия 1917 г. в эго-документах: Воспоминания. М.: РОССПЭН, 2015. 510 с.
19. Соболев Л.Г. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. Л.: Наука, 1985. 312 с.
20. Струве П.Б. В чем революция и контрреволюция // Русская мысль. Пг., 1917. № 11. С. 57–61.
21. Струве П.Б. *Patriotica*: Политика, культура, религия, социализм: Сб. ст. за пять лет (1905–1910). СПб.: Д.Е. Жуковский, 1911. 619 с.
22. Троцкий Л.Д. История русской революции: Октябрьская революция. М.: Вече, 2017. 432 с.
23. Февральская революция 1917 г.: Сб. док. и мат. М.: РГГУ, 1996. 353 с.
24. Шкловский В.Б. Сентиментальное путешествие. М.: Изд-во «Новости», 1990. 368 с.
25. Landaner C., Honegger H. *Internationaler Faschismus: Beiträge über Wesen und Stand der faschistischen Bewegung und über den Ursprung ihrer leitenden Ideen und Triebkräfte*. Karlsruhe: G. Braun, 1928. S. 131–132.
26. Steinberg M. *The Russian revolution, 1905–1921*. Oxford: Oxford univ. press, 2017. 400 p.
27. Wade R. *The Russian revolution, 1917*. Cambridge, 2000. 337 p.

References

- Alekseev N.N. *Russkij narod i gosudarstvo*. Moscow: Agraf, 1998. 635 p.
- Astashov A.B. *Russkij front v 1914 – nachale 1917 g.: Voennyj opyt i sovremennost'*. Moscow: Novyj hronograf, 2014. 736 p.
- Berar E. *Imperiya i gorod: Nikolaj II, «Mir iskusstva» i gorodskaja дума v Sankt-Peterburge, 1894–1914*. Moscow: NLO, 2016. 344 p.

- Buldakov V.P. 1917-j god: Strasti revoljucii // Trudy po rossievedeniju. Moscow: INION, 2016. Vol. 6. P. 277–319.
- Burdzhalov Je.N. Vtoraja russkaja revoljucija: Vosstanie v Petrograde. Moscow: Nauka, 1967. 408 p.
- Dongarov A.I. Pakt Molotova–Ribbentropa: Zaplanirovannyj jekspromt // Trudy po rossievedeniju. Moscow: INION, 2016. Vol. 6. P. 320–352.
- Fevral'skaja revoljucija 1917 g.: Sb. dok. i mat. Moscow: RGGU, 1996. 353 p.
- Gajda F.A. Liberal'naja oppozicija na putjah k vlasti (1914 – vesna 1917 g.). Moscow: ROSSPEN, 2003. 432 p.
- Ganelin R.Sh. Posle Rasputina // Ganelin R.Sh. V Rossii dvadcatogo veka. Stat'i raznyh let. Moscow: Novyj hronograf, 2014. P. 442–463.
- Gippius Z. Dnevnik: v 2 kn. Moscow: NPK «Intelvak», 1999. Kn. 1: Sinjaja kniga (1914–1917). 736 p.
- Kersnovskij A.A. Istorija russkoj armii. Moscow: Voenizdat, 1999. 784 p.
- Kljamkin I.M. Demilitarizacija kak istoricheskaja i kul'turnaja problema // Kuda vedet krizis kul'tury? Opyt mezhdisciplinarnogo dialoga. Moscow: Novoe izd-vo, 2011. P. 261–306.
- Landaner C., Honegger H. Internationaler Faschismus: Beiträge über Wesen und Stand der faschistischen Bewegung und über den Ursprung ihrer leitenden Ideen und Triebkräfte. Karlsruhe: G. Braun, 1928. S. 131–132.
- Lotman Ju. Besedy o russkoj kul'ture: Byt i tradicii russkogo dvorjanstva (XVIII – nachalo XIX v.). Saint-Petersburg: Azbuka, 2016. 608 p.
- Mel'gunov. Martovskie dni 1917 g. Moscow: Veche, 2016. 576 p.
- Pajps R. Russkaja revoljucija. Moscow: ROSSPEN, 1994. Ch. 1. 399 p.
- Paleolog M. Carskaja Rossija nakanune revoljucii. Moscow: Politizdat. 1991. 494 p. (Reprint. vosproizv. izd. 1923 g.).
- Pervaja mirovaja vojna i sud'by evropejskoj civilizacii. Moscow: Izd-vo Mosk. un-ta, 2014. 816 p.
- Poslednie dni imperatorskoj vlasti / Po neiz. dok. sost. A. Blok. Minsk: Vyshhejsj. shk., 1991. 110 p.
- Rossija 1917 g. v jeho-dokumentah: Vospominanija. Moscow: ROSSPEN, 2015. 510 p.
- Shklovskij V.B. Sentimental'noe puteshestvie. Moscow: Izd-vo «Novosti», 1990. 368 p.
- Sobolev L.G. Petrogradskij garnizon v bor'be za pobedu Oktjabrja. Leningrad: Nauka, 1985. 312 p.
- Steinberg M. The Russian revolution, 1905–1921. Oxford: Oxford univ. press, 2017. 400 p.
- Struve P.B. Patriotica: Politika, kul'tura, religija, socializm: Sb. st. za pjat' let (1905–1910). Saint-Petersburg: D.E. Zhukovskij, 1911. 619 p.
- Struve P.B. V chem revoljucija i kontrevoljucija // Russkaja mysl'. Petrograd, 1917. N 11. P. 57–61.
- Trockij L.D. Istorija russkoj revoljucii: Oktjabr'skaja revoljucija. Moscow: Veche, 2017. 432 p.
- Wade R. The Russian revolution, 1917. Cambridge, 2000. 337 p.